

Джером К. Джером

Трое в лодке, не считая собаки

Предисловие

Главная красота этой книги заключается не столько в ее литературном слоге или в количестве и полноте содержащихся в ней сведений, сколько в ее простодушной правдивости. Страницы ее являются записью действительных событий. Оставалось только слегка расцветить их; но за это не взималось дополнительной платы. Джордж, Гаррис и Монморанси — не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови, — в особенности Джордж, который весит около ста семидесяти фунтов. Другие сочинения могут превзойти это глубиной мысли и знания человеческой природы; могут соперничать с ним оригинальностью и размерами; но в отношении безнадежной и неисправимой правдивости ничто из донныне открытого не в состоянии превзойти его. Более всех прочих его прелестей упомянутое свойство увеличит ценность этим рассказам в глазах вдумчивого читателя и придаст лишний вес уроку, преподанному им.

Лондон, август, 1889

Трое больных. — Страдания Джорджа и Гарриса. — Жертва ста семи смертельных недугов. — Полезные рецепты. — Исцеление болезней печени у детей. — Мы сходимся на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. — Неделя на волнующейся пучине. — Джордж предлагает реку. — Монморанси заявляет протест. — Первоначальное предложение принимается большинством трех голосов против одного

Нас было четверо — Джордж, Вильям Сэмюел Гаррис, я и Монморанси. Мы сидели в моей комнате, покуривая и толкуя о том, как мы плохи, — разумеется, я хочу сказать, с медицинской точки зрения.



Все мы расклеились и серьезно этим озаботились. Гаррис объявил, что на него временами находят такие необычайные приступы головокружения, что он сам не знает, что делает; а потом Джордж сказал, что с ним случаются также припадки головокружения, и тогда он едва знает, что делает. Что до меня, у меня была не в порядке печень. Знал же я это потому, что только что прочел рекламу патентованных пилюль для печени, в которой описывались различные симптомы, помогающие человеку распознать, что его печень не в порядке. У меня имелись все до одного.

Странное дело, я не могу прочесть ни одного объявления о каком-нибудь новоизобретенном средстве от той или иной болезни, не убедившись в то же время, что я страдаю ею, и притом в самой злокачественной форме.

Я всегда нахожу у себя все ее признаки и симптомы.

Помню, как-то раз, чувствуя себя не совсем здоровым (кажется, это была простая лихорадка), я пошел в библиотеку Британского музея посмотреть в медицинском словаре, какими средствами нужно лечиться от лихорадки. Я добыл книгу и вычитал все, что мне было нужно, затем, от нечего делать, начал перелистывать ее дальше, изучая разные болезни. Не припомню теперь, что первое попало

мне на глаза, — знаю только, что это был какой-то страшный, губительный недуг, один из бичей человечества. Еще не дочитав до конца описи симптомов болезни, я уже убедился, что она гнездится в моем теле.

Оледенев от ужаса, я несколько минут сидел без движения, потом с горя начал перелистывать дальше. Напал на тифозную горячку, просмотрел симптомы и обнаружил, что я, несомненно, болен тифом, болен уже несколько месяцев, сам того не зная! Надо посмотреть, нет ли еще чего? Дошел до пляски святого Витта, — так и есть, и тут все признаки налицо. Это меня заинтересовало, и я решил узнать всю правду до конца. Прочел о перемежающейся лихорадке и узнал, что болен и ею, но острый период наступит только через две недели. Брайтова болезнь у меня была, но, к счастью, в измененной форме: с этим можно еще жить, и довольно долго. Зато холера оказалась у меня с тяжелыми осложнениями, а дифтерит, должно быть, у меня был врожденный. Словом, я добросовестно перебрал все болезни по алфавиту и пришел к заключению, что у меня нет только одной — хронической язвы голени!

Вначале я даже немного обиделся, точно мне оказали неуважение. Что за гнусность! Почему бы у меня не быть и хронической язвы голени? Почему она должна составлять исключение? Однако,

поразмыслив немного, я успокоился. Ведь, кроме нее, у меня были все болезни, известные в медицине. Надо умерить свой эгоизм и как-нибудь обойтись без хронической язвы голени. Злостная подагра уже давно терзала меня, а я даже и не подозревал о ее присутствии. Это была последняя болезнь, описанная в лексиконе, так что и болеть мне больше было нечем.

Я сидел и раздумывал о том, какой я интересный субъект с медицинской точки зрения, и какой находкой был бы я для медицинского факультета. Студентам не пришлось бы бегать по госпиталям — я один стою целого госпиталя! Студентам достаточно было бы изучить одного меня, чтобы сдать экзамен и получить докторский диплом.

Далее я задался вопросом: много ли еще мне осталось жить? Я попробовал сам себя исследовать. Стал щупать пульс, но сначала не мог даже найти его. Потом пульс вдруг забился, и очень сильно. Я вынул часы, стал считать и насчитал 147 ударов в минуту. Попытался выслушать сердце, но и сердца не мог найти. Оно перестало биться.

В конце концов, я поневоле пришел к убеждению, что оно все время оставалось на месте и, следовательно, должно было биться. Но найти его я все же не мог, почему — объяснить не сумею. Я ощупал свою грудь, начиная с того места,

которое я называю своей талией, и вплоть до головы, ощупал бока, даже закладывал руку за спину, — все напрасно! Я ничего не чувствовал и не слышал. Оставалось осмотреть язык. Я высунул его, насколько мог, закрыл один глаз и начал присматриваться другим. Виден был самый кончик. Из этого осмотра я вынес только одно: окончательное убеждение в том, что у меня скарлатина!

Я вошел в читальню здоровым, счастливым человеком, а вышел из нее, еле волоча ноги, дряхлой развалиной.

Я немедленно отправился к своему доктору. Мы с ним старые друзья. Когда мне кажется, что я болен, он щупает у меня пульс, смотрит язык, болтает о погоде и не берет денег; поэтому я решил, что мне, по всей справедливости, следует пойти к нему и теперь. Я говорил себе: «Что нужно доктору? Практика. Я дам ему практику. В смысле практики я стою сотни обыкновенных пациентов, у которых не бывает больше, чем по одной, по две болезни!»

Итак, я отправился прямо к нему. Прихожу. Он спрашивает:

— Ну-с, что с вами такое?

— Милый друг, — говорю я, — не хочу отнимать у вас золотого времени и потому не стану рассказывать, что со мной. Жизнь коротка, и вы

можете умереть раньше, чем я кончу. Я лучше скажу вам, чем я не болен. Я не болен хронической язвой голени. Почему я ею не болен, — сказать не сумею, но факт остается фактом этой болезни у меня нет. Зато все остальное налицо.

И я рассказал ему, как я пришел к такому заключению.

Доктор велел мне расстегнуться, смерил меня взглядом, завладел моей рукой, стукнул меня по груди в такой момент, когда я этого вовсе не ожидал (по-моему, это низость), и сейчас же вслед за тем боднул меня головой в бок. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и подал мне, а я, не читая, сунул его в карман и ушел.

Войдя в первую попавшуюся аптеку, я подал рецепт провизору. Он прочел и возвратил мне его обратно, говоря, что «этого они не держат».

— Как, разве здесь не аптека?

— Вот именно аптека! Будь у меня гостиница с рестораном, я мог бы помочь вам, а теперь — извините. Я — аптекарь, а не трактирщик!

Я развернул рецепт я прочел:

«1 порция бифштекса и 1 бутылка портеру каждые 6 часов. По утрам гулять не меньше двух часов.

Ложиться спать ровно в 11 и не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».

Я в точности исполнил предписание доктора,

и результат получился блестящий, — для меня лично, — так как я до сих пор жив и не собираюсь пока умирать.

В данном случае, если мы возвратимся к рекламе пилюль для печени, симптомы, вне сомнения, оказывались налицо, причем главным из них было «общее нерасположение к работе какого бы то ни было рода».

Никаким языком не выразить, как я страдаю в этом отношении. Я был мучеником с самого раннего детства. В отрочестве едва ли я знал день отдыха от этой болезни. В то время не подозревали, что она происходит от печени. Наука медицины не достигла еще тогда теперешнего развития, и все сваливали на лень.

— Ах ты, скверный бесенок, — бывало, говорят мне, — поворачивайся-ка, потрудись-ка и ты за хлеб насущный! — не зная, разумеется, что я болен.

И пилюлями меня тогда не кормили, а кормили тумачами по голове. И, как это ни покажется странным, но эти тумачи нередко излечивали меня — по крайней мере, на время. Случалось, что единственный тумач по голове имел больше действия на мою печень и внушал мне больше нетерпения отправиться, не теряя времени, и тут же проделать то, что требовалось сделать, чем целая коробка пилюль в настоящее время.

Знаете ли, это часто так бывает, — простые, старомодные средства иной раз оказываются действеннее целой аптеки.

Мы просидели так с полчаса, описывая друг другу свои болезни. Я объяснил Джорджу и Вильяму Гаррису, что я испытываю, когда встаю поутру; а Вильям Гаррис поведал нам, как себя чувствует, ложась в постель; что же касается Джорджа, он стоял на коврике перед камином и талантливо изображал в лицах, что с ним происходит по ночам.

Джордж воображает себя больным; но надо вам знать, что на самом деле у него никогда не бывает ничего серьезного.

В этот момент в дверь постучалась миссис Поппетс с вопросом, угодно ли нам ужинать. Мы печально улыбнулись друг другу и заметили, что придется попытаться что-нибудь проглотить. Гаррис сказал, что часто удается отдалить приступ болезни с помощью полного желудка. Тогда миссис Поппетс внесла поднос, и мы подсели к столу: слегка отведали ростбифа с луком и закусили тортом с ревенем.

Уж, верно, я был слаб в это время: отлично помню, что по прошествии первого получаса пища перестала меня интересовать — необычайное для меня состояние, — и я даже не стал есть сыра.

Исполнив этот долг, мы заново наполнили

стаканы, зажгли трубки и возобновили прежний спор по вопросу о здоровье. Что такое именно с нами, ни один из нас сказать не умел; но все мнения сходились на том, что оно — чем бы оно ни было — вызвано переутомлением.

— Отдых — вот единственное, что нам нужно, — сказал Гаррис.

— Отдых и полная перемена обстановки, — поддакнул Джордж. — Чрезмерное напряжение мозга вызвало общую подавленность всей системы. Перемена впечатлений и отсутствие необходимости мышления восстановят духовное равновесие.

У Джорджа есть родственник, обыкновенно обозначаемый на податном листке студентом-медиком, благодаря чему он, естественно, усвоил способы выражения домашних врачей.

Я согласился с Джорджем и предложил разыскать какое-нибудь уединенное, старосветское местечко, вдали от безумствующей толпы, и промечтать солнечную недельку в его дремотных долинах. Какой-нибудь полузабытый уголок, запрятанный волшебницами вне доступа шумного света, — причудливое гнездо, прилепившееся к утесам времени, куда вздымающиеся валы девятнадцатого века будут доноситься слабыми и далекими звуками.

Гаррис сказал, что в таком месте, вероятно,

будет скучно. Он объявил, что знает: я подразумеваю такое место, где все ложатся спать в восемь часов, ничего нельзя достать ни за какие деньги и приходится ходить за десять миль за табаком.

— Нет, — сказал Гаррис, — если хотите отдыха и перемены, ничто не превзойдет морской прогулки.

Я решительно восстал против морской прогулки. Морская прогулка хороша, когда у тебя два месяца впереди, но на одну неделю это грешно.

Отчаливаешь в понедельник, втемяшив себе в голову убеждение, что будешь наслаждаться. Пошлешь воздушные приветы оставшимся на берегу, запалишь самую громадную из своих трубок и примешься выступать по палубе, чувствуя себя капитаном Куком, сэром Фрэнсисом Дрейком и Христофором Колумбом в одно и то же время. Во вторник жалеешь, что поехал. В среду, четверг и пятницу призываешь смерть. В субботу становишься способным проглотить немного мясного бульона и сидеть на палубе и отвечать с бледной, нежной улыбкой, когда добрые люди спрашивают, как ты теперь себя чувствуешь. В воскресенье снова начинаешь разгуливать и есть твердую пищу. А в понедельник утром, когда стоишь у трапа с саквояжем и зонтиком в руке, дожидаясь высадки, тогда только и начинаешь

находить удовольствие в морской прогулке.

Помнится, однажды мой свояк отправился в краткое морское путешествие для здоровья. Он взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно; когда же достиг Ливерпуля, единственным его желанием было продать свой обратный билет.

Говорят, его предлагали по всему городу с огромной скидкой, и спустили, в конце концов, за восемнадцать пенсов желчному с виду юноше, только что получившему от своих врачей совет пожить на берегу моря и побольше двигаться.

— Берег моря! — сказал мой свояк, любовно вкладывая ему в руку билет. — Да вам его тут хватит на целую жизнь, уж что касается движения, то вы проделаете больше движений, сидя на этом пароходе, чем проделали бы, кувыркаясь на суше!

Сам он — мой свояк — возвратился поездом. Он объявил, что для него достаточно здорова и Северо-Западная железная дорога.

Другой мой знакомый пустился в недельное плавание вдоль по берегу, и перед отплытием буфетчик пришел спросить его, желает ли он платить за стол каждый раз отдельно или за все время сразу.

Буфетчик рекомендовал второй способ как наиболее дешевый. Он сказал, что возьмет с него за всю неделю всего только два фунта пять шиллингов. На завтрак подается рыба, затем

что-нибудь жареное. Ленч бывает в час и состоит из четырех блюд. Обед в шесть часов — суп, рыба, закуска, ростбиф, птица, салат, сладкое, сыр и десерт. В заключение легкий мясной ужин в десять часов.

Мой приятель заключил, что изберет систему в два фунта пять шиллингов (он не дурак поест), и так и сделал.

Ленч совпал с тем моментом, когда они только что оставили за собой Ширнесс. Он оказался не таким голодным, как ожидал, поэтому удовольствовался ломтиком отварного мяса и несколькими ягодами земляники со сливками. В течение дня он предавался долгим размышлениям, и то ему казалось, что он уже целые недели питается одним отварным мясом, то представлялось, что прошли годы с тех пор, как он ничего не брал в рот, кроме земляники со сливками.

И мясо и земляника со сливками также казались неудовлетворенными, чувствовалось, что им как-то не по себе.

В шесть часов пришли доложить, что обед готов. Известие не внушило ему восторга, но он чувствовал, что надо же отработать часть этих двух фунтов и пяти шиллингов, поэтому стал цепляться за веревки и за что попало и спустился вниз. У подножия лестницы его встретил приятный запах лука и горячей ветчины, смешанный с ароматом

жареной рыбы и овощей; затем с елейной улыбкой приблизился буфетчик и осведомился, что ему подать.

— Подайте меня вон отсюда, — был слабый ответ.

Тогда его живехонько вытащили на палубу, прислонили к перилам с подветренной стороны и оставили в покое.

Следующие четыре дня он вел простой и безгрешный образ жизни на тощих капитанских сухарях (я хочу сказать, что тощими были сухари, а не капитан) и содовой воде; но к субботе уже набрался форсу настолько, что разрешил себе жиденького чаю с гренком, а в понедельник заливался куриным бульоном. Во вторник он расстался с пароходом и с сожалением проводил его глазами, когда тот, пыхтя, отдалялся от пристани.

— Уходит себе, — сказал он, — уходит и уносит с собой на два фунта принадлежащей мне провизии, которой я не воспользовался.

По его словам, если бы ему накинули хоть один денек, он успел бы еще поквитаться с ними.

Итак, я восстал против морской прогулки. Не ради себя самого, как я пояснил им. Мне никогда не бывает дурно. Но я боялся за Джорджа. Джордж объявил, что нисколько не болел бы и даже наслаждался бы морем, но советует Гаррису и мне

даже и не помышлять о том, ибо он уверен, что мы оба раскиснем. Гаррис возразил, что для него всегда было тайной, каким это образом люди ухитряются болеть на море; он подозревает, что они это проделывают нарочно из жеманства; сам же он много раз хотел заболеть, да не сумел.

Затем он стал рассказывать анекдоты о том, как переправлялся через Ла-Манш в такую бурную погоду, что приходилось привязывать пассажиров к койкам, и на всем пароходе только и осталось здоровых, что он и капитан.

В другой раз это были он и помощник штурмана, но всегда он и еще кто-нибудь. Если не он и еще кто-нибудь, то один он.

Странное дело, но никто никогда не бывает подвержен морской болезни на суше. На море же встречаешься с пропастью совсем больных людей — прямо-таки полными пароходами; но я ни разу еще не повстречал на суше человека, когда-либо испытавшего морскую болезнь. Куда прячутся тысячи тысяч подверженных ей людей, когда попадают на землю, остается для меня тайной.

Если большинство людей похожи на человека, однажды виданного мною на ярмутском пароходе, тогда мнимая загадка разрешается более чем легко. Помнится, мы только что отчалили от пристани Саутэнда, и он свесился с палубы под очень опасным наклоном. Я приблизился, чтобы

попытаться спасти его.

— Эй вы! Отодвиньтесь-ка от борта, — сказал я, тряся его за плечо. — Вы свалитесь.

— Ох! Когда бы я только мог свалиться! — было единственным его ответом.

Так и пришлось его оставить.

Три недели спустя я встретился с ним в кофейне Батской гостиницы. Он рассказывал о своих путешествиях и с восторгом объяснял, как любит море.

— Хорошо ли переношу его? — отозвался он в ответ на завистливый вопрос скромного молодого человека. — Да признаюсь, что раз как-то я точно чувствовал себя не в своей тарелке. Было это у мыса Горн. На следующее утро корабль погиб.

Я сказал тогда:

— Не было ли вам однажды не по себе у Саутэндской пристани, когда вы мечтали свалиться за борт?

— Саутэндской пристани? — повторил он с видом недоумения.

— Ну-да, по пути в Ярмут, в пятницу, три недели назад.

— О-ах, да, — ответил он, оживляясь, — теперь припоминаю. Действительно, у меня в этот день разболелась голова. Из-за пикулей, знаете ли. Никогда еще я не отвеживал таких позорных пикулей на уважающем себя пароходе. Не

пришлось ли вам их попробовать?

Что касается меня, я изобрел превосходный способ уберечься от морской болезни путем балансирования. Стоишь в центре палубы, и когда судно вздымается и ныряет, двигаешь телом с таким расчетом, чтобы оно всегда оставалось прямым. Когда поднимается передняя часть судна, наклоняешься вперед, пока не коснешься носом палубы; когда же поднимается задний его конец, отклоняешься назад. Все это отлично на час-два, но нельзя же балансировать в продолжение недели. Джордж предложил:

— Отправимся вверх по реке.

Там, по его словам, мы получим свежий воздух, движение и покой; постоянная смена картин займет наши умы (включая тот, что имеется у Гарриса), а мускульный труд снабдит нас аппетитом и хорошим сном.

Гаррис сказал, что считает нежелательным для Джорджа делать что бы то ни было, способное увеличить его сонливость: это может оказаться опасным. Он не вполне понимает, каким образом Джордж может спать больше, чем теперь, ввиду того, что в сутках как зимой, так и летом бывает не больше двадцати четырех часов; но если только он может ухитриться спать больше, то еще проще было бы умереть и сделать экономию на столе и квартире.

Тем не менее Гаррис объявил, что река — первое дело. Я также нашел, что река — первое дело, и Гаррис и я оба сказали, что мысль Джорджа удачна; и сказали мы это тоном, дававшим понять, что нас удивляет, как это Джордж мог показать себя таким рассудительным.

Один только Монморанси не был приятно поражен предложением. У него иногда сердце не лежало к реке.

— Вам, ребята, хорошо, — говорил он, — вам это нравится, а мне нет. Мне там делать нечего. Пейзажи не по моей части, курить я не курю. Если завижу крысу, вы не останавливаетесь; а случится мне заснуть, начнете дурачиться с лодкой и смахнете меня за борт. Если спрашиваете моего мнения, я считаю всю эту затею дурацким сумасбродством.

Как бы то ни было, нас было трое против одного, и предложение было принято.

II

Обсуждаются планы. — Радости бивака в ясные ночи. — То же в дождливые. — Мы останавливаемся на компромиссе. — Первые впечатления Монморанси. — Опасения, что он чересчур совершенен для мира сего, впоследствии отклоняются как неосновательные. — Заседание закрывается

Мы вытащили карты и принялись обсуждать планы.

Условились отправиться в следующую субботу из Кингстона. Мы с Гаррисом выберемся с утра и доставим лодку в Честер, где встретимся с Джорджем, которому не удастся освободиться из Сити раньше послеполуденных часов (Джордж спит в банке с десяти часов до четырех ежедневно, исключая субботы, когда его будят и выталкивают в два).

Будем ли мы ночевать на биваке или в гостиницах?

Джордж и я стояли за бивак. Это будет так вольно и дико, так патриархально.

Золотистое воспоминание о солнце медленно угасает в сердцах холодных, печальных облаков. Умолкнув, как пригорюнившиеся дети, птицы прекратили песни, и только жалобный клик водяной курочки и резкое карканье дергача нарушают благоговейное затишье на лоне вод, на котором умирающий день испускает последнее дыхание.

По обоим берегам из смутных лесов ползут призрачные рати ночи, серые тени, подкрадываясь неслышной поступью к мешкающему арьергарду света и подвигаясь незримиыми шагами над кивающей осокой и сквозь вздыхающие камыши; и

ночь на мрачном своем престоле складывает темные крылья над меркнувшим миром и царит в безмолвии, заседая в озаренном бледными звездами туманном чертоге.

Тогда мы заводим свою лодочку в тихий уголок, раскидывается палатка, готовится и съедается скромный ужин. Набиваются и зажигаются большие трубки, тихо и музыкально звучит отрадная беседа; а в промежутках играющая вокруг лодки река болтает о диковинных старых сказках и тайнах, тихо напевает старую детскую песенку, которая звучит уже так много тысяч лет и будет звучать еще столько же, прежде чем ее голос огрубеет и состарится; а мы, научившиеся любить ее переменчивое лицо, мы, так часто прикицавшие к ее мягкому лону, воображаем, что понимаем эту песенку, хотя и не могли бы пересказать простыми словами поведенную нам повесть.

Так мы сидим на ее берегу, в то время как луна, также ее любящая, склоняется поцеловать ее сестринским поцелуем и обвивает ее серебряными руками; а мы смотрим, как она течет, все лепеча, все напевая, навстречу властелину-морю, пока голоса наши не умолкнут и трубки не погаснут. И странные, полурадостные-полупечальные мысли овладевают нами, в сущности достаточно заурядными, будничными юношами, и нет охоты

говорить. Наконец мы встаем со смехом, и, выколотив догоревшие трубки, вымолвив «Доброй ночи», засыпаем под тихими большими звездами, убаюканные плещущей водой и шелестящими деревьями. И снится нам, что земля снова молода, — молода и нежна, какой была прежде, чем века забот и тревог избородили ее прекрасный лик, прежде чем грехи и безумие ее детей состарили ее любящее сердце, — снова нежна, как в минувшие дни, когда, став впервые матерью, нянчила нас, детей своих, на собственной глубокой груди, прежде чем ухищрения размалеванной цивилизации выманили нас из ее любящих объятий, а ядовитые насмешки искусственности внушили нам стыд к простому житью, которое мы вели с ней, и простому величавому жилищу, в котором родилось человечество столько тысяч лет назад.

Гаррис заметил:

— А если пойдет дождь?

Вдохновить Гарриса нет никакой возможности. В Гаррисе нет поэзии — нет дикого стремления к недостижимому. Он никогда не плачет «сам не зная почему». Если глаза Гарриса наполняются слезами, можно держать пари, что он ел сырой лук или хватил с котлетой лишней горчицы.

Стоишь, например, вечером с Гаррисом на берегу моря и говоришь:

— Чу! Слышишь ли? То поют русалки, притаившись глубоко под колышущейся волной, или унылые духи отпевают белые тела, задержанные водорослями?

Гаррис возьмет тебя под руку и скажет:

— Знаю, в чем дело, старина, ты схватил простуду. Пойдем-ка со мной. Здесь, за углом, я знаю местечко, где можно выпить лучшего шотландского виски, которое тебе когда-либо приходилось отведать — не успеешь оглянуться, все как рукой снимет.

Гаррису всегда известно местечко за углом, где можно получить что-нибудь выдающееся из области напитков. Сдается мне, что если бы встретиться с Гаррисом в раю (допуская возможность подобного события), он бы немедленно приветствовал вас следующими словами:

— Так рад, что ты пришел, старина; я разыскал здесь, за углом, славное местечко, где можно получить действительно первоклассный нектар.

В настоящем случае, однако, касательно ночевки на открытом воздухе, его практический взгляд на вещи явился своевременным напоминанием. Бивак в дождливую погоду действительно мало приятен.

Вечер. Вы промокли до костей, а в лодке

добрых два дюйма воды, и все вещи отсырели. Разыскиваете на берегу место, менее слякотное, чем остальные, причаливаете, выгружаете палатку, и двое из вас принимаются укреплять ее.

Палатка вымокла и отяжелела, и треплется по воздуху, и падает на вас, и липнет к вашей голове, и сводит вас с ума. Все это время не переставая льет дождь. Даже и в сухую погоду установить палатку дело нелегкое, в дождливую — это геркулесов труд. Вместо того чтобы вам помогать, вам представляется, что ваш товарищ просто валяет дурака. Только что установишь свою сторону чудеснейшим образом, как вдруг он что есть силы дернет со своего конца и сразу испортит все дело.

— Эй! что ты там вытворяешь? — кричите вы.

— Что ты вытворяешь? — огрызается он. —

Отпусти, слышишь, отпусти!

— Не тяни, ты все портишь, тупоголовый осел! — ревете вы.

— Вовсе нет! — взвизгивает он. — Отпусти ты со своего конца.

— Говорю тебе, что у тебя все наыворот! — гремите вы, жалея, что не можете до него добраться, и так встряхиваете веревками, что все его колья выскакивают из земли.

— Ах, он идиот негодный! — бормочет он про себя; затем следует яростное сотрясение, и ваша сторона палатки взлетает кверху. Вы бросаете

молоток и отправляетесь вокруг палатки, с целью изложить ему свой взгляд на вещи; а он одновременно отправляется в том же направлении, дабы объяснить вам, что он о вас думает. Так вы и гоняетесь друг за другом, не переставая ругаться, пока палатка не свалится бесформенной грудой, и, увидев друг друга поверх ее развалин, вы с негодованием восклицаете в один голос:

— Ну, вот! Что я тебе говорил?

А третий человек, тот, что выкачивал воду из лодки, наливал ее себе в рукав и последовательно ругался про себя в продолжение последних десяти минут, — осведомляется, в какую дурацкую игру вы играете и почему это окаянная палатка до сих пор еще не раскинута?



Наконец, так или иначе, она оказывается установленной, и вы выгружаете свои пожитки. Развести костер совершенно безнадежное дело, поэтому вы зажигаете спиртовку и льнете к ней. Первое место за ужином занимает дождевая вода. Хлеб на две трети состоит из дождевой воды, пирог изобилует ею, и варенье, масло, соль и кофе — все присоединились к ней, чтобы составить суп.

Поужинав, вы удостоверяетесь, что табак отсырел и курить нельзя. К счастью, у вас имеется про запас бутылка того добра, которое веселит душу и опьяняет, если отведать его в должном количестве, и благодаря ему в вас пробуждается достаточно интереса к жизни, чтобы захотелось лечь спать.

Но тут вам снится, что к вам на грудь внезапно уселся слон, что произошло извержение вулкана, повергшее вас на дно морское, в то время как слон продолжает спокойно спать у вас на груди. Вы просыпаетесь с представлением, что на самом деле случилось нечто ужасное. Первая ваша мысль — наступил конец света; затем вы рассуждаете, что это невозможно, что дело идет о ворах, убийцах или пожаре, и высказываете это мнение соответствующим образом. Помощи, однако, никакой не следует, и вы знаете только одно, что вас молотят ногами тысячи людей и что вы задыхаетесь.

Притом становится очевидным, что страдаете не вы один. Чьи-то смутные крики доносятся из-под вашей постели. Решив во всяком случае дорого продать свою жизнь, вы боретесь с яростью, молотя направо и налево руками и ногами и не переставая вопить во все горло; и вот, наконец, что-то расступается, и ваша голова оказывается на свободе, на расстоянии двух футов вы смутно различаете полуодетого мужлана, собирающегося вас убить, и готовитесь к борьбе не на живот, а на смерть, как вдруг вас осеняет сознание, что это Джим.

— А? Это ты? — говорит он, признавая вас в ту же минуту.

— Да, — отвечаете вы, протирая глаза. — Что такое случилось?

— Опрокинуло негодную палатку, как мне сдается, — говорит он. — А где же Билл?

Тут вы оба возвышаете голос и зываете к «Биллу», и земля под вами качается, колышется, и слышанный вами раньше голос откликается из-под развалин:

— Уберетесь вы с моей головы или нет?

И наружу выкарабкивается Билл, грязный и помятый и вдобавок в неуместно задорном настроении, ибо он, очевидно, убежден, что все это было проделано нарочно.

Поутру вы все трое без голоса благодаря

схваченной ночью сильной простуде; кроме того, сварливо настроены и во время завтрака ругаетесь хриплым голосом между собой.

Поэтому мы решили, что будем устраивать стоянки в ясные ночи, а в сырую погоду, или же просто, когда нам заблагорассудится, ночевать в гостиницах, трактирах и харчевнях, как почтенные люди.

Монморанси встретил это решение с полным одобрением. Поэтическое уединение мало восхищает его. Ему подавай что-нибудь пошумнее, и чем вульгарнее, тем лучше. Глядя на Монморанси, вы подумали бы, что это ангел, ниспосланный на землю, по неведомой человечеству причине, в виде маленького фокстерьера.

Наблюдающееся в Монморанси выражение: «О, как греховен сей мир и как бы я желал сделать его лучше и благороднее», не раз вызывало слезы на глазах набожных старичков и старушек.

Когда он впервые пришел жить на моем иждивении, я и не надеялся, что мне удастся надолго сохранить его.

Бывало, сижу и смотрю на него сверху вниз, в то время как он сидит на коврике и смотрит на меня снизу вверх, и думаю: «О, эта собака долго не проживет. Ее возьмут на небо в колеснице, вот что с ней случится».

Но после того, как я уплатил за дюжину задушенных им цыплят и вытащил его за шиворот, рычащего и дрыгающего лапами, из ста четырнадцати уличных драк, и созерцал мертвую кошку, предьявленную мне разъяренной особой женского пола, обозвавшей меня убийцей, и был вызван в суд живущим через дом человеком за то, что держу на свободе свирепого пса, продержавшего его в осаде два часа кряду в холодную ночь в его собственном сарае для инструментов, откуда он не смел показать носа, и узнал, что мой садовник выиграл без моего ведома тридцать шиллингов на пари благодаря его проворству в ловле крыс, — тогда я начал подозревать, что, быть может, Монморанси и пробудет еще немного на земле.

Околачиваться у конюшен, набрать стаю самых непозволительных собак, каких только можно разыскать в целом городе, и повести их в поход по притонам, на бой с другими непозволительными собаками, — вот как Монморанси понимает «жизнь», и вот почему, как я уже говорил, предложение, касающееся трактиров и постоянных дворов, заслужило самое недвусмысленное его одобрение.

Разрешив таким образом вопрос о ночевках к удовлетворению всех четырех, нам оставалось обсудить, что мы возьмем с собой; и только мы

начали это обсуждение, как Гаррис заявил, что с него достаточно разглагольствований на один вечер, и предложил пойти проветриться, так как он разыскал местечко за углом, около сквера, где можно получить каплю действительно недурной ирландской водки.

Джордж сказал, что хочет пить (я не помню случая, когда бы Джорджу не хотелось пить); ввиду же имевшегося у меня предчувствия, что немножко горячего виски с ломтиком лимона принесет пользу моей болезни, прения были единодушно отсрочены до следующего вечера, и собрание надело шляпы и разошлось.

III

Обсуждение подробностей. — Рабочие приемы Гарриса. — О том, как пожилой отец семейства вешает картину. — Джордж делает разумное замечание. — Радости раннего утреннего купанья. — Запас на тот случай, если лодка опрокинется

Итак, на следующий вечер мы снова собрались для обсуждения и утверждения планов. Гаррис сказал:

— Ну, первым делом надо решить, что брать с собой. Ты, Джей, достань лист бумаги и записывай,

а ты, Джордж, раздобудь прейскурант бакалейной лавки. Дайте кто-нибудь карандаш, я составлю список.

Как это похоже на Гарриса, — вечно готов взять все тяготы и переложить их на чужие плечи!

Он всегда напоминает мне покойного дядю Поджера. Вы никогда в жизни не видали такого столпотворения в доме, как когда мой дядюшка Поджер брался сделать какое-нибудь дело. Бывало, принесут из рамочного заведения картину, и она стоит в столовой, дожидаясь, чтобы ее повесили, и тетушка Поджер спросит, что с ней делать, а дядюшка Поджер ответит:

— О, предоставьте это мне. Пусть никто из вас о ней не беспокоится. Я все проделаю сам.

Тут он снимет сюртук и начнет. Пошлет горничную купить на шесть пенсов гвоздей, потом одного из мальчиков следом за ней сказать, какого размера нужны гвозди; затем, продолжая в том же духе, постепенно перебудоражит весь дом.

— Ну, Билл, — зовет он, — ступай принеси мне молоток, а ты раздобудь мне линейку, Том; да, мне еще понадобится лестничка, да не худо бы также иметь кухонный стул под рукой; а еще, Джим, добеги до мистера Гоглза и скажи: «Папаша кланяется и надеется, что вашей ноге лучше, и не можете ли вы дать ему займы ваш ватерпас?» А ты, Мэри, не уходи, потому что кому-нибудь надо

мне посветить; а когда горничная вернется, пускай сходит за веревкой; а Том, — где же Том? Том, ты ступай сюда; ты мне понадобишься, чтобы подать картину.

Тут он поднимет картину, и уронит ее, и картина выскочит из рамы, и он попытается спасти стекло, и порежется; затем начнет метаться по комнате в поисках носового платка. Платка он не может найти, потому что платок остался в кармане снятого им сюртука, а он не знает, куда положил сюртук, и весь дом бросает раздобывать инструменты и принимается искать ему сюртук, а он суетится вокруг и мешает им.

— Неужели никто в целом доме не знает, где мой сюртук? Никогда в жизни не видал такой компании — честное слово, не видал. Шестеро человек! — и не можете найти сюртук, который я скинул не дальше, как пять минут назад! Однако же, признаюсь, из всех...

Тут он встанет и увидит, что сидел на своем сюртуке, и закричит:

— Можете бросить! Я сам уже его нашел. Скорее можно поручить кошке разыскать что-нибудь, чем рассчитывать, что один из вас найдет что бы то ни было.

Когда же пройдет полчаса на перевязку пальца, и достанут новое стекло, и принесут инструменты, лестницу, стул и свечу, он начинает

сызнова, между тем как все семейство, включая горничную и судомойку, стоит полукругом наготове для оказания ему помощи. Двоим приходится держать стул, третий помогает ему влезть на него и поддерживает его в равновесии, четвертый подает ему гвоздь, пятый протягивает молоток, а он тогда берет гвоздь и роняет его.

— Ну вот! — говорит он оскорбленным тоном. — Теперь гвоздь упал. И всем нам приходится ползать на четвереньках и разыскивать гвоздь, в то время как он стоит на стуле, и ворчит, и желает узнать, намерены ли его продержат тут целый вечер.

Гвоздь, в конце концов, отыскивается, но к этому времени он потерял молоток.

— Где молоток? Куда я девал молоток? Силы небесные! Семь ротозеев, и ни один из вас не знает, что я сделал с молотком!

Мы разыскиваем ему молоток, но тут он не может найти метку, сделанную им на стене для гвоздя, и каждому из нас приходится влезать на стул рядом с ним и смотреть, не разыщем ли ее; и каждый из нас находит ее в другом месте, и он называет всех нас одного за другим дураками, и гонит нас прочь со стула. Тогда он берет линейку, перемеривает, и убеждается, что ему надо отступить на тридцать один дюйм и три восьмых от угла, и, стараясь сделать расчет в уме, приходит в ярость.

Тогда все мы принимаемся рассчитывать в уме, и все получаем различные результаты и глумимся друг над другом. И в общей перебранке забывается первоначальная цифра, дядюшке Поджеру приходится перемеривать все сначала.

На этот раз он берет шнурок, и в критический момент, когда старый дурак наклоняется со стула под сорокапятиградусным углом, пытаясь дотянуться на три дюйма дальше, чем это возможно, шнурок срывается, и сам он обрушивается на рояль, причем получается поистине удачный музыкальный эффект, когда голова и тело неожиданно соприкасаются со всеми клавишами сразу.

Тогда тетушка Мэри говорит, что не позволит детям стоять и слушать такие слова.

Наконец дядюшка Поджер снова разыскивает свое прежнее место, приставляет к нему гвоздь левой рукой и берет в правую молоток. И с первого же удара попадает себе по толстому пальцу и с воплем роняет молоток на чью-нибудь ногу.

А тетушка Мэри кротко выражает пожелание, чтобы дядюшка Поджер вовремя известил ее в следующий раз, когда соберется вбивать гвоздь в стену, дабы она успела снарядиться на недельку к матери.

— Эх вы, бабье! Всегда заводите возню из-за пустяков! — отвечает дядюшка Поджер, приводя

себя в порядок. — Мне такого рода работа прямо-таки доставляет удовольствие.

Следует вторая попытка, и на этот раз гвоздь целиком исчезает в штукатурке, а с ним и половина молотка, а дядя Поджер налетает на стену с достаточной силой, чтобы расплющить себе нос.

Тут мы снова разыскиваем линейку и шнурок, и проделывается новая дырка; и к полуночи картина оказывается повешенной, хотя очень ненадежно и слабо, между тем как вся стена на протяжении нескольких ярдов имеет такой вид, точно ее скребли граблями, и все смертельно утомлены и не в духе, исключая дядюшку Поджера.

— Вот и дело в шляпе, — говорит он, грузно опускаясь со стула на мозоль судомойки и созерцая свою мазню с очевидной гордостью. — Подумать только, бывают люди, которые наняли бы человека для такого пустяка!

Гаррис будет как раз в этом роде, когда постареет, и я так и сказал ему. Я объявил, что ни за что не позволю ему брать на себя столько труда. Я сказал так:

— Нет, ты раздобудь бумагу, и карандаш, и преискуртант, Джордж пускай записывает, а работать буду я.

Первый сделанный нами список оказался никуда не годным. Явно было, что верхнее течение Темзы не приспособлено для судна, способного

вместить все предметы, признанные нами необходимыми. Пришлось порвать список и составить другой.

Джордж заявил:

— Знаете что, мы стоим на совершенно ложном пути. Нам нужно думать не о тех вещах, без которых мы могли бы обойтись, но о тех, без которых мы не можем обойтись.

Право, Джордж иногда выказывает положительную рассудительность. Вы удивились бы. По-моему, это истинная мудрость, не только относительно данного случая, но и путешествия вверх по реке житейской вообще. Сколько людей, предпринимающих такое путешествие, нагружают лодку до того, что она готова пойти ко дну от множества дурацких принадлежностей, почитаемых ими существенными для приятности и удобства прогулки, на самом же деле представляющих собой не что иное, как ненужный хлам.

Как загромождают они бедное суденышко до верха мачты богатыми одеждами и большими домами; ненужными слугами и ватагой напыщенных знакомых, которые ни в грош их не ставят и за которых сами они не дадут ни пенса; дорогими развлечениями, никому не доставляющими удовольствия, формальностями и модами, притворством и тщеславием, и — о грузнейший безумный хлам из всех! — страхом

того, что подумает их ближний, роскошью, которая пресыщает до тошноты, удовольствиями, которые лишь досаждают, пустой видимостью, которая, как, бывало, железный венец преступника, язвит и утомляет украшенную им измученную голову!

Хлам, братец, — все хлам! Швыряй его за борт. Он так отягощает лодку, что ты чуть не лишаешься сил на веслах. Из-за него становится так трудно и опасно управлять ею, что не знаешь мгновения отдыха от забот и тревог, никогда не улучишь минутки для мечтательной праздности, — некогда тебе любоваться ни воздушными тенями, легко скользящими над водой, ни сверкающими лучами, ударяющими в водяную рябь, ни высокими деревьями, смотрящимися с берега в воде, ни переливающимися золотом и зеленью лесами, ни белыми и желтыми кувшинками, ни темным кивающим тростником, ни осокой, ни кукушкиными слезками, ни голубыми незабудками.

Выброси хлам за борт, дружище! Пусть будет легким твой жизненный челн, бери в него лишь то, что тебе нужно, — простой очаг с простыми радостями, одного-двух друзей, достойных этого звания, кого-нибудь, кого любить, и кого-нибудь, кем быть любимым, кошку, собаку, штуки две трубок, необходимую еду и одежду и побольше необходимого питья, ибо жажда — опасная вещь.

Тогда легче будет вести лодку, тогда она

менее будет склонна опрокинуться, а если и опрокинется, это еще полбеды: простой добротный товар не боится воды. Времени хватит не только на одну работу, но и на мечты. Успеешь впитать солнечное сияние жизни — успеешь внимать золотым мелодиям, извлекаемым Божиим ветром из окружающих нас струй человеческих сердец, успеешь...

Виноват, честное слово. Совсем позабыл.

Итак, мы предоставили список Джорджу, и он приступил к нему.

— Не станем брать палатки, — предложил он, — возьмем лодку с тентом. Это несравненно проще и гораздо удобнее.

Мысль казалась недурной, и мы согласились. Не знаю, видали ли вы когда-нибудь то, что я подразумеваю. Над всей лодкой устанавливаются железные дуги, поверх натягивается парусина, которая прикрепляется по краям, от носа до кормы, и лодка обращается в маленький домик, очаровательно уютный, хотя и душноватый; но нельзя же и без оборотной стороны, как сказал человек, у которого умерла теща, когда к нему явились взыскивать расходы по ее погребению.

Джордж сказал, что при этих условиях нам следует взять с собой по коврику, лампу, мыло, щетку и гребень (общие для всех), по зубной щетке (на каждого), кружку, зубной порошок, бритвенный

прибор (похоже на упражнение во французском учебнике, не правда ли?) и пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления для купанья, когда отправляются просто посидеть у воды, но что, однажды попав туда, они мало купаются.

То же бывает, когда едешь на берег моря. Я всегда твердо решаю — когда обдумываю вопрос в Лондоне, что буду рано вставать каждое утро и бегать окунуться перед завтраком, с благоговением укладываю пару штанов и купальное полотенце. Мои купальные штаны всегда бывают красными. Я довольно нравлюсь самому себе в красных штанах. Они так идут к цвету моего лица. Но, стоит мне добраться до моря, это утреннее купанье почему-то кажется мне далеко уже не таким заманчивым, каким казалось в городе.

Наоборот, мне хочется оставаться в постели до последней минуты, а потом спуститься вниз и позавтракать. Раза два добродетель одерживала верх, я поднимался в шесть часов и, одевшись наполовину, брал штаны и полотенце и уныло ковылял к морю. Но удовольствия при этом не испытывал. Право, можно подумать, что кто-то держит про запас особый пронизывающий восточный ветер на случай, если я пойду купаться рано утром, и отбирает все треугольные камни и кладет их сверху, и оттачивает скалы, и присыпает

края песком, чтобы я не мог их видеть, и берет море и относит его на две мили дальше, так что мне приходится обхватить самого себя руками и подпрыгивать, дрожа от холода, в шести дюймах от воды. Когда же я, наконец, дойду до моря, оно ведет себя со мной грубо и даже оскорбительно.

Одна огромная волна подхватывает меня и швыряет что ни на есть с самого размаха на нарочно приготовленный для меня камень. И прежде чем я успеваю сказать «Ох! ух!» и рассмотреть, чего я лишился, волна возвращается и уносит меня в открытый океан. Я принимаюсь отчаянно плыть к берегу и задаю себе вопрос, увижу ли я еще когда дом и близких, и жалею, что не был добрее к сестренке мальчиком (я хочу сказать, когда я был мальчиком). Как раз в тот момент, когда я навсегда простился с надеждой, волна удаляется и оставляет меня распластанным, как морская звезда, на песке, и я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что боролся со смертью на мелководье. Я возвращаюсь вприпрыжку, одеваюсь и ползу домой, где приходится прикидываться, что купанье доставило мне удовольствие.

В настоящем случае мы все говорили так, словно намеревались подолгу плавать каждое утро. Джордж сказал, что так приятно проснуться свежим утром в лодке и окунуться в прозрачную воду. Гаррис заметил, что нет ничего лучше для аппетита,

чем купание перед завтраком. Ему оно всегда придает аппетит. Джордж возразил, что, если Гаррис будет есть больше обыкновенного, он запротестует против того, чтобы Гаррису позволяли купаться.

По его мнению, и без того придется тащить достаточно провизии для Гарриса против течения.

Однако я заметил Джорджу, насколько будет приятнее иметь Гарриса свежим и опрятным в лодке, хотя бы и пришлось взять несколько лишних сотен фунтов провизии; и он, в конце концов, согласился со мной.

В заключение решено было взять три купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга дожидаться.

Что касается платья, Джордж заявил, что за глаза довольно по два фланелевых костюма на каждого, ибо мы можем сами выстирать их в реке, когда они запачкаются. На вопрос, пробовал ли он сам когда-нибудь стирать фланелевый костюм в реке, он отвечал, что «нет, не совсем он сам; но он знал других, которые это делали, и этого вполне достаточно». И Гаррис и я были довольно глупы, чтобы вообразить, будто он понимает, о чем говорит, и что три почтенных молодых человека, без положения и влияния и без всякого опыта в прачечном деле, действительно, могут отмыть свои собственные брюки и куртки в реке Темзе с

помощью кусочка мьяи.

В грядущие дни, когда было уже поздно, нам пришлось убедиться, что Джордж жалкий обманщик, очевидно, не имевший о данном вопросе никакого представления. Когда бы вы видели, что из этого вышло... но не станем забегать вперед, как говорят в сенсационных фельетонах.

Джордж внушил нам необходимость взять перемену белья и побольше носков, на тот случай, если мы опрокинемся и надо будет переодеться; а также побольше носовых платков, так как они годятся, чтобы вытирать вещи, и по паре кожаных ботинок, кроме полотняных башмаков, ибо они могут нам понадобиться, если мы опрокинемся.

IV

Вопрос о пище. — Возражение против керосина в качестве атмосферы. — Преимущества сыра как спутника в путешествии. — Замужняя женщина покидает свой дом. — Дальнейшие приготовления на случай, если лодка опрокинется. — Я укладываюсь. — Зловредность зубных щеток. — Джордж и Гаррис укладываются. — Ужасающее поведение Монморанси. — Мы отправляемся спать

Потом пошло обсуждение вопроса питания.

Джордж сказал:

— Начнем с завтрака. (Джордж так практичен.) Прежде всего на завтрак нам нужна будет сковорода.

Гаррис заметил, что это неудобоваримо, но мы попросили его не быть ослом, и Джордж продолжал:

— Потом еще чайник, котелок и спиртовка.

— Только не керосин, — сказал Джордж с многозначительным взглядом, и мы с Гаррисом согласились с ним.

Раз как-то мы брали керосинку, но «больше никогда». В течение этой недели мы словно жили в лавке, где торгуют керосином. Он просачивался. Нет ничего на свете, что умело бы просачиваться так, как керосин. Мы держали его на носу, и отсюда он просачивался вниз по рулю, пропитывая всю лодку и все имевшиеся на ней предметы по пути, и просачивался в реку, и насыщал пейзаж, и портил атмосферу. Иной раз дул западнокеросиновый ветер, временами восточнокеросиновый, а подчас севернокеросиновый, и даже, пожалуй, южнокеросиновый; но откуда бы он ни дул, с полярных ли снегов или песков пустыни, он неизменно доходил к нам, напоенный ароматом керосина.

А тот все просачивался и портил нам солнечный закат; а уж что касается лунных лучей,

то от них положительно так и разило керосином.

В Марло мы попытались улизнуть от него. Мы оставили лодку у моста и пошли прогуляться по городу, чтобы избежать его, но он отправился следом за нами. Весь город был пропитан керосином. Мы прошли через кладбище, и казалось, точно людей хоронили в керосине. Верхняя улица провоняла керосином; мы удивлялись, как это можно жить на ней. Мы вышли на Бирмингемскую дорогу и прошли мили за милями, но все было без толку, — поля купались в керосине.

В конце этого путешествия мы собрались в полночь на пустынной поляне, под разбитым молнией дубом, и поклялись страшной клятвой (мы сквернословили по этому поводу целую неделю в обыкновенном будничном тоне, но тут было нечто совсем особенное) — никогда больше не брать с собой в лодку керосина.

Таким образом в настоящем случае мы ограничились древесным спиртом. И это тоже порядочная гадость. Пирог и кекс одинаково отдают древесным спиртом, но для внутреннего употребления в больших дозах древесный спирт все же здоровее керосина.

Из прочих яств для завтрака Джордж рекомендовал яйца с беконом, так как это легко готовить, холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. На ленч, сказал он, мы можем есть

бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, — но только не сыр. Сыр, подобно керосину, чересчур притязателен. Он завладевает всей лодкой. Он пропитывает корзину и придает сырный запах всему, что в ней находится. Не знаешь, что ешь: пирог ли с яблоками, немецкую колбасу или землянику со сливками. Все одинаково кажется сыром. Слишком уж много в сыре запаха.

Помнится, один мой приятель купил две головки сыра в Ливерпуле. Превосходные были сыры, зрелые и нежные и с запахом в двести лошадиных сил, распространяющимся на три мили и способным сбить человека с ног на расстоянии двухсот ярдов.

Я был в то время в Ливерпуле, и приятель мой просил, если мне все равно, захватить сыры с собой, так как сам он задержится еще дня на два, а сырам, как ему кажется, больше ждать не годится.

— С удовольствием, дружище, — сказал я, — с удовольствием.



Я заехал за сырами и увез их в кэбе. Это была дряхлая каретка, с впряженным в нее разбитым на ноги, закаленным лунатиком, которого его владелец, говоря со мной, назвал в минуту увлечения лошадью.

Я положил сыры сверху, и мы отправились аллюром, сделавшим бы честь любому паровому катку, и все было весело, как похоронный звон, пока мы не завернули за угол.

Тут ветер пахнул сырным запахом прямо на нашего коня. Тот внезапно проснулся и, фыркнув

от страха, помчался с быстротой трех миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и прежде чем мы достигли конца улицы, он развил до четырех миль в час, оставляя далеко позади калек и толстых дам.

Пришлось двум носильщикам помогать кэбмену сдерживать его перед вокзалом, да и то не знаю, одолели ли бы они его, если бы у одного из них не хватило присутствия духа накинуть ему платок на нос и покурить бумагой.

Я взял билет и гордо прошелся со своими сырами по платформе, причем публика почтительно расступалась по сторонам. Поезд был набит битком, и мне пришлось сесть в отделении, где уже находилось семь человек.

Один сердитый старый джентльмен запротестовал, но я, несмотря на это, влез и, положив сыры в сетку, протиснулся на место и заметил с приятной улыбкой, что сегодня жаркая погода. Прошло несколько минут, затем старый джентльмен начал тревожиться.

— Очень здесь душно, — сказал он.

— Совсем невыносимо, — отозвался его сосед.

Тут оба они начали потягивать носом и, по третьему разу вдохнув запах полной грудью, встали, не добавив ни слова, и вышли вон. Тут поднялась толстая дама и сказала: «Безобразие —

так беспокоить почтенную замужнюю женщину», собрала кофр и восемь свертков и вышла. Остальные четверо пассажиров просидели еще некоторое время, пока торжественный с виду человек в углу, походивший одеждой и общими приметам на члена бюро похоронных процессий, не заметил, что ему вспоминается о мертвом младенце, тогда трое прочих пассажиров попытались протиснуться в дверь одновременно и столкнулись лбами.

Я улыбнулся черному господину и заметил, что мы остаемся вдвоем на все отделение; он же добродушно засмеялся и ответил, что иные люди затевают целые истории из-за пустяков. Но даже и он впал в странное уныние, когда поезд тронулся, ввиду чего, когда мы прибыли в Кру, я предложил ему выйти и промочить глотку.

Он согласился, и мы протиснулись к буфету, где вопили, и топали ногами, и махали зонтиками в продолжение четверти часа; наконец подошла барышня и спросила, не угодно ли нам чего-нибудь.

— Вы что станете пить? — спросил я, обращаясь к приятелю.

— На полкроны чистой водки, пожалуйста, мисс, — сказал он.

И, выпив ее, преспокойно убрался и сел в другое отделение, что я называю подлостью.

После Кру я оставался в отделении один, хотя

поезд и был переполнен. Когда мы останавливались на станциях, люди замечали пустое отделение и бросались к нему.

— Сюда, сюда, Мэри, поспеши, тут места вдоволь! Ладно, Том, сядем здесь! — перекликались они между собой. И проворно бежали к нему, таща тяжелый багаж, и сражались у двери, чтобы пробиться вперед. Один из них распахивал дверцу, поднимался по ступенькам и отшатывался в объятия стоявшего за ним, и все тогда входили и потягивали носом, а потом отступали и шли задыхаться в других вагонах, или уплатить разницу и ехать в первом классе. Из Хьюстона я отвез сыры в дом моего знакомого.

Когда его жена вошла в комнату, она слегка повела носом, а затем сказала:

— Что такое? Не скрывайте от меня худшего.

Я отвечал:

— Это сыры. Том купил их в Ливерпуле, просил меня привезти их с собой.

Я добавил, что, надеюсь, она понимает, что я тут ни при чем; она же ответила, что не сомневается в этом, но зато Тому от нее достанется, когда он придет домой.

Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем предполагал; три дня спустя, не дождавшись его, меня навестила его жена. Она спросила меня:

— Что говорил Том насчет этих сыров?

Я отвечал, что он велел держать их в прохладном месте, и чтобы никто их не трогал. Она возразила:

— Едва ли кто пожелает их тронуть. А нюхал ли он их?

Я сказал, что, насколько мне известно, он их нюхал, и добавил, что он, по-видимому, сильно к ним привязан.

— Как вы думаете, расстроит ли его, — спросила она, — если я дам человеку золотой, чтобы он отнес их и закопал в землю?

Я выразил уверенность, что после такого прискорбного события Том никогда в жизни больше не улыбнется. Ее осенила мысль. Она сказала:

— Не согласитесь ли вы хранить их вместо меня? Позвольте прислать их к вам.

— Мэм, — сказал я, — лично я люблю запах сыра, и путешествие с ними из Ливерпуля всегда будет вспоминаться мне как блаженное окончание приятных каникул. Но в этом мире нам следует думать также и о других. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова, возможно также, что и сирота. Она питает сильное, можно даже сказать, красноречивое предубеждение против того, чтобы ей, по ее выражению, «наступали на нос». Присутствие сыров вашего мужа в ее доме будет, я

инстинктивно это чувствую, понято ею как «наступление на нос»; но да не скажет никто никогда, что я наступаю на нос вдовам и сиротам.

— Прекрасно, — проговорила жена моего друга, вставая, — могу только сказать, что я заберу детей и поселюсь с ними в гостинице, пока эти сыры не будут съедены. Я отказываюсь дальше оставаться с ними в одном доме.

Она сдержала слово, поручив дом судомойке, после того как последняя, на заданный ей вопрос, в силах ли она перенести запах, спросила:

— Какой запах?

Когда же ее подвели вплотную к сырам и велели покрепче принюхаться, сказала, что может разобрать слабый запах дыни.

Из этого заключили, что она не может потерпеть большого ущерба от сырной атмосферы, и оставили ее в доме.

Счет в гостинице достиг пятнадцати гиней; и когда мой приятель все посчитал, оказалось, что сыр обошелся ему по восьми шиллингов шести пенсов за фунт. Он сказал, что, хотя и питает большое пристрастие к сыру, однако это ему не по средствам; поэтому он решил от них отделаться.

Он бросил их в канал, но их пришлось вынуть обратно, ибо рабочие на баржах жаловались. Уверяли, что испытывают подлинную дурноту. После этого он однажды вынес их темной ночью и

оставил в приходской мертвецкой. Но коронер разыскал сыры и поднял целый скандал.

Он объявил, что это заговор, чтобы пробуждать умерших и тем лишить его куска хлеба.

Наконец мой приятель отделался от них. Он свез их в приморский город и закопал на берегу. Благодаря ему городок совсем прославился. Посетители стали говорить, что никогда раньше не замечали исключительной крепости воздуха, а слабогрудые и чахоточные так и стремились туда толпами в течение многих лет.

Поэтому, как я ни люблю сыр, но считаю, однако, что Джордж был прав, исключив его из списка.

— Чая нам не надо, — сказал Джордж (лицо Гарриса омрачилось), — а будет добрая, дружная, сборная еда в семь часов, — обед, чай и ужин сразу.

Гаррис несколько приободрился. Джордж предложил взять пирожки с мясом и фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы взяли замечательное клейкое произведение Гарриса, которое разбавлялось водой и получало название лимонада, вдоволь чая и бутылку виски, на случай, — сказал Джордж, — если мы опрокинемся.

Сдается мне, что Джордж чересчур напирал на мысль об опрокидывании. По-моему, это нехорошее расположение духа, когда пускаешься в

плавание.

Все же я рад, что мы взяли виски. Вина и пива мы не брали. Они не годятся для реки. От них чувствуешь себя тяжелым и ленивым. Стаканчик под вечер, когда околачиваешься в городе и любишь барышнями, вполне уместен; но не пейте вы тогда, когда солнце жарит вам прямо в голову и впереди предстоит серьезная работа.

Перед тем как разойтись, мы в этот вечер составили список того, что нам надлежало взять, и он оказался достаточно пространным. На следующий день, бывший пятницей, мы раздобыли все эти вещи, а вечером сошлись их укладывать. Достали большой саквояж для платья и две большие корзины для провизии и кухонных принадлежностей. Стол сдвинули к окну, сложили все посреди комнаты на полу, сели вокруг и стали смотреть на груды.

Я сказал, что буду укладывать.

Я несколько горжусь своей укладкой. Укладка — один из тех многочисленных вопросов, в которых я лучше осведомлен, чем большинство людей. (Я сам удивляюсь иногда многочисленности этих вопросов.) Я внушил эту истину Джорджу и Гаррису, сказав им, что пускай они лучше предоставят все дело мне. Они согласились с готовностью, в которой было нечто зловещее. Джордж набил трубку и развалился в кресле, а

Гаррис положил ноги на стол и зажег сигару.

Едва ли таково было мое намерение. В мой план, само собой разумеется, входил расчет, что я буду всем распоряжаться, а Гаррис и Джордж будут хлопотать под моим надзором, причем все время. «Эх ты!.. Давай сюда, я сделаю. Ну вот, что может быть проще!» — так сказать, буду поучать их.

То, как они отнеслись к моему предложению, раздражило меня. Ничто так не раздражает меня, как зрелище человека, который сидит и ничего не делает, в то время как я работаю.

Я жил однажды с человеком, который доводил меня таким способом до бешенства.

Бывало, валяется на диване и по целым часам наблюдает за тем, что я делаю, следя за мной глазами, куда я ни двинусь по комнате. Он уверял, что ему положительно полезно смотреть, как я вожусь. Глядя на меня, он чувствовал, что жизнь не праздный сон для зевастья и ротозейства, а благородная задача, полная долга и сурового труда. Говорил, что удивляется, как это мог жить, прежде чем встретился со мной, когда ему не приходилось смотреть ни на чью работу.

Я, например, не таков. Я не могу сидеть смиренно и смотреть, как другой трудится и надрывается. Так и подмывает меня вскочить и прохаживаться, держа руки в карманах, и наставлять его, как и что делать. Всему виной моя

энергическая природа. Тут уж ничего не поделаешь.

Тем не менее я ничего не сказал, но принялся за работу. Дела оказалось больше, чем я предполагал, но, в конце концов, я покончил с саквояжем, сел на него и застегнул ремни.

— А ботинки ты не станешь класть? — спросил Гаррис.

Я оглянулся и увидел, что позабыл их положить. Как это похоже на Гарриса. Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянул саквояж ремнями. А Джордж стал смеяться — этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым, разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня!

Я отпер саквояж и уложил ботинки, и тут, когда я уже готовился запереть его, меня осенила ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щетку? Не сумею сказать почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку или нет.

Мысль о зубной щетке, как тень, следует за мной в дороге и отравляет мне существование. Мне снится, что я не уложил ее, и я просыпаюсь в холодном поту, встаю с постели и ищу ее. А поутру я укладываю ее раньше, чем почистил зубы, и снова вынужден раскладываться, чтобы добыть ее, и она всегда оказывается на самом дне; потом я снова укладываюсь и забываю ее, и мне приходится мчаться наверх в последнюю минуту и везти ее на

железнодорожную станцию завернутой в носовой платок.

Разумеется, мне пришлось вывернуть из саквояжа все без остатка, и, разумеется, щетка не нашлась.

Я довел все вещи приблизительно до того состояния, в каком они должны были находиться до сотворения мира, когда еще царил хаос. Разумеется, щетки Джорджа и Гарриса попадались мне по восемнадцати раз кряду, но своей я найти не мог. Я положил вещи обратно одну за другой и каждую поднимал кверху и встряхивал. Щетка нашлась в сапоге. Потом я уложил все сначала.

Когда я закончил, Джордж спросил меня, внутри ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, внутри ли мыло или нет; захлопнул саквояж и стянул ремни, но увидел, что уложил свой табачный кисет, и вынужден был снова отпереть его. Окончательно запертым он оказался в 10 часов 5 минут пополудни, а оставалось еще уложить корзины. Гаррис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше чем через двенадцать часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они с Джорджем сделают остальное; и я согласился с ним и уселся посмотреть, а они принялись за дело.

Начали они с легким сердцем, очевидно, намереваясь показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний; я только ждал. Когда Джорджа

повесят, Гаррис будет худшим укладчиком в мире; я смотрел на груды тарелок, чашек, чайников, бутылок, мисок, спиртовок, пирогов, помидоров, и т. д. и чувствовал, что зрелище будет интересным.

Я не ошибся. Они начали с того, что разбили чашку. Это было их первым подвигом. Сделали они это единственно для того, чтобы показать, что могут сделать, и возбудить к себе интерес.

Потом Гаррис уложил клубничное варенье вместе с помидором и раздавил помидор, и пришлось выбирать помидор из варенья чайной ложкой.

Затем настала очередь Джорджа; он наступил на масло. Я ничего не говорил, но подошел поближе, сел на край стола и стал смотреть. Это бесило их больше, чем все, что я мог бы сказать. Я это чувствовал. Они начали нервничать и суетиться, и наступали на вещи, и клали вещи за спину, и не могли их найти в нужную минуту, и уложили пироги на дно, и положили сверху тяжелые вещи, и продавили пироги.

Всюду, куда только было можно, они насыпали соли, а уж что касается масла! Никогда во всю свою жизнь я не видел, чтобы два человека натворили столько дел с куском масла, ценой в один шиллинг два пенса! После того как Джордж соскреб его со своей туфли, они попытались вложить его в котелок. Оно не лезло, а то, что

влезло, не хотело вылезать обратно. Наконец они выскребли его вон и положили на стул, и Гаррис тотчас сел на него, и масло пристало к нему, а они пошли разыскивать его по всей комнате.

— Я готов присягнуть, что положил его на этот стул, — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье.

— Я сам видел, как ты его клал не далее как минуту назад, — подтвердил Гаррис.

Снова они отправились вокруг комнаты на розыски и снова сошлись посредине и воззрились друг на друга.

— Удивительнейший случай! — заметил Джордж.

— В высшей степени таинственный! — подтвердил Гаррис. Тут Джордж зашел Гаррису в тыл и увидал масло.

— Да вот же оно, тут как тут! — воскликнул он с негодованием.

— Где? — крикнул Гаррис, поворачиваясь и устремляясь куда-то.

— Да стой же ты смирно! Куда это ты? — заревел Джордж, бросаясь в погоню.

Тогда они сняли его и упаковали в чайник.

Монморанси, как и следовало ожидать, принимал во всем участие. У Монморанси одна только честолюбивая мечта в жизни: попасться под ноги и быть обруганным. Если ему удастся

протиснуться туда, где он особенно неуместен, и отравить всем существование, и присутствующие выйдут из себя и будут швырять в него чем попало, только тогда он чувствует, что его день не пропал даром.

Высшая его цель — это устроить так, чтобы кто-нибудь споткнулся об него и продолжал ругать его непрерывно в течение часа; когда ему удастся этого достигнуть, его самомнение становится поистине невыносимым.

Он приходил и садился на те самые вещи, которые подлежали немедленной укладке, и пребывал в непоколебимом заблуждении, что каждый раз, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им требуется его холодный влажный нос. Он вступил ногой в варенье, и рассыпал чайные ложки, и притворился, что лимоны — крысы, и влез в корзину и умертвил троих из них, прежде чем Гаррис огрел его сковородкой.

Гаррис уверяет, что я поощряю его. Вовсе я его не поощряю. Такая собака не нуждается в поощрении. То, что он делает, он делает по внушению естественного, прирожденного греха, родившегося вместе с ним.

Укладка закончилась в 12 часов 50 минут, и Гаррис сел на большую корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж

заметил, что если что разбилось, то уже разбилось, и это размышление, очевидно, доставило ему утешение. Еще он сказал, что готов ложиться спать. Мы все были готовы ложиться спать. Гаррис на эту ночь оставался ночевать с нами, и мы вместе отправились наверх.

Мы кинули жребий, и Гаррису выпало на долю спать со мной. Он спросил меня:

— С какой стороны кровати ты предпочитаешь спать, Джим?

Я ответил, что обыкновенно предпочитаю спать просто на постели. Гаррис объявил, что это старо и неостроумно. Джордж спросил:

— В котором часу будить вас, ребята? Гаррис сказал:

— В семь.

Я сказал:

— Нет, в шесть, — потому что собирался писать письма.

Мы с Гаррисом немножко сцепились по этому поводу, но, наконец, разделили разницу пополам и остановились на половине седьмого.

— Разбуди нас в половине седьмого, Джордж, — сказали мы. Джордж не отвечал, и, подойдя к нему, мы увидели, что он давно спит; поэтому мы приставили к его кровати лохань с водой таким образом, чтобы он мог упасть в нее, когда встанет поутру, а сами улеглись в постель.